

ислѣ, весьма разнообразны и любопытны, а голоторная публицистика въ комментаріяхъ къ этимъ матеріаламъ врядъ ли возбудитъ къ себѣ довѣріе у кого-либо, кромѣ тѣхъ, изъ большевиковъ, кто обладаетъ «святой простотой» старушки, бросившей полѣнце въ костеръ Яна Гуса.

А. Кизеветтеръ.

Ф. Степунъ. Изъ писемъ прапорщика артиллериста. Прага, 1926, стр. 267.

Типичная романтическая книга — «Котъ Муръ» Э. Т. А. Гофманна. Для романтической ощущенія неизбывнаго дуализма, разрывающаго все бытіе, расщепляющаго всякую жизнь, является у Гофманна удачно выдуманною вѣншею формою искусственная и искусная «смѣсь», чередованіе страницъ изъ мемуаровъ ученаго и начитаннаго, но тѣмъ не менѣе сохранившаго всю непосредственность и живость животности кота и изъ жизнеописанія экстатического музыканта Л. Крейсера. Романтической философіи Степуна представлялся случай созерцать жизнь въ двухъ различныхъ аспектахъ, сохраняя единство самосознанія. Этимъ случаемъ была война.

Я не хочу урекать Ф. А. Степуна въ томъ, что онъ будто бы сдѣлалъ трагедію міровой исторіи фономъ для собственной судьбы или судьбы собственнаго міровоззрѣнія. «Письма прапорщика» менѣе всего говорятъ о личной судьбѣ автора (отражающейся, конечно, въ этихъ, дѣйствительно, во время войны и на войнѣ писанныхъ письмахъ, но не дѣлающейся центромъ повѣствованія уже потому, что авторъ намѣренно подчеркиваетъ всюду ея случайность и второстепенность). Мнѣ думается, наоборотъ, что романтически-дуалистическая книга о войнѣ — необходима и нужна, — вѣдь даже пацифисты не станутъ отрицать множественности облика войны и невозможности постичь ее въ какомъ-либо одномъ аспектѣ. Романтической дуализмъ «Писемъ прапорщика» вскрываетъ раздвоеніе не только романтической души, но глубокую разсѣченность, расколотость всякой душевности вообще и этой душевностью рождаемой «культуры». Поэтому «Письма прапорщика» — своеобразное введеніе въ философію культуры. — Я не знаю, читаютъ-ли большинство читателей «Письма», какъ философскую книгу. Очень жаль, если нѣтъ. Лишь отдѣльныя — и отнюдь не наиболѣе центральныя темы сами себя рекомендуютъ читателю, какъ философскія. А между тѣмъ — книга эта глубоко философская и глубже и шире захватываетъ жизнь, чѣмъ болѣе позднія откровенно - философскія произведенія Степуна (романъ «Николай Переслѣнный» и «Мысли о Россіи») Ибо въ «Письмахъ» захватывается философійей сфера, казалось бы, не оставляющая мѣста для рефлексій, увлекающая человѣка въ водоворотъ почти - природной необходимости — конкретное бытіе человѣка въ «минуты роковыя» государствъ и народовъ. Авторъ рефлктируетъ только надъ тѣмъ и исходя изъ того, что естественно и случайно проходитъ передъ нимъ. Въ этомъ — и изящество удачнаго литературнаго приѣма, и глубокая философская идея.

Основная мысль философии автора — различение Жизни и Творчества, «последнего» и сущностного ядра человеческого бытия и творимого человеком, как жизнь выражающее, на нее намекающее, но ее не охватывающее и не передающее цѣликомъ — эта мысль, конечно, — въ основѣ всѣхъ построений книги. Всѣ письма и всѣ отдѣльные переживания автора строятся антитетически. Черезъ всю книгу проходятъ пары противостоящихъ одно другому понятій и образовъ — въ каждой такой парѣ на одной сторонѣ нѣкоторый перевѣсъ Жизни, на другой — «Творчества» — умаляющаго Жизнь. Фронтъ и тылъ, Россія и Германія, войны и рефлектирующие о войнахъ писатели... — предстають передъ нами, какъ гакія пары, — начиная отъ юмористической двойцы подружившихся въ военномъ лазаретѣ барона и быв. народного учителя и кончая праздниками Рождества и Нового Года, — въ посвященныхъ Рождеству и Новому Году замѣчательныхъ страницъ передъ нами съ наибольшей глубиной снова развита исходная философская позиція Ф. А. Степуна. Да и самый обликъ автора — переодѣтаго въ сѣрую военную шинель философа — символизируетъ эту раздвоенность всякой душевности съ максимальной яркостью.

Въ «Письмахъ», однако, мы находимъ и многообразное преодоленіе мыслью Степуна односторонности и ограниченности дуалистическаго систематизирующаго мотива его романтически — несистематической философіи.

Во-первыхъ, слишкомъ ужъ велика та необходимость съ какою Жизнь «умаляется» не только до Творчества, но и до смерти; какъ будто въ Жизни самой заложены начала раздвоенія. Когда, казалось бы, съ Жизни спадаетъ наслойка культуры, когда обнажаются глубокіе слои Смысла, когда человекъ могъ бы жить живою жизнью, — даже и тогда «изъ ничто» слагается новая «культура» или псевдокультурность — комфортъ и уютъ биваковъ и окоповъ, организованность наблюдательныхъ пунктовъ, обыденность походныхъ лазаретовъ, стройныя оправданія войны, строяемыя слишкомъ «служливымъ» умомъ, исцелость «спортивнаго» отношенія къ войнахъ — этой величайшей исторической и личной трагедіи. Душевность стремится закрыть сама отъ себя бездну Смысла покровомъ, благодаря которому она не вынуждена бы была глядѣться въ жуткую тайну Последняго «Странное» не замѣчается болѣе, какъ «странное». «Какъ странно, что такъ не странно странное!» И даже въра въ Смысль, даже упорное желаніе не упустить изъ виду смыслового аспекта происходящаго — не спасаетъ отъ погруженія въ эту новую обыденность, заслоняющую отъ насъ не только Последнее, но и «предпоследнее». Устремленіе къ Вѣчности есть устремленіе ко «вселикости», но осуществиться оно можетъ лишь, какъ дурная эмпирическая «многочисленность» *). — Поэтому отношеніе

*) Въ нашей рец. на «Жизнь и Творчество» мы сблизили нѣкоторыя мысли Степуна съ теоріями Фрейда. Здѣсь мы хотѣли бы отмѣтить, что для Степуна возможна отнюдь не только «сублимация» переживаній — поднятіе ихъ въ высшую сферу; но любое переживаніе, уходя во тьму безсознательнаго, можетъ оставить въ любой иной

Ф. А. Степуна къ романтикъ двойственно, — онъ хочетъ **быть** романтикомъ, но не хочетъ для себя романтической судьбы.

Съ другой стороны, Жизнь не оставляетъ ни одной изъ сферъ Творчества безъ своего просвѣтляющаго и живящаго вѣянiя. Человѣку приходится открывать въ немъ самимъ созданномъ «знѣшнемъ» глубокой смыслъ и значенiе, черезъ «обыденность» онъ прозрѣваетъ «душевность», быть становится «символомъ», какъ всякій символъ вскрывающимъ значительно болѣе, чѣмъ то, что непосредственно лежитъ въ его содержанiи. Даже на явную ложь, на мертвящее зло какъ-то ложится отвѣтъ Правды. — Романтики жаждутъ Вѣчности, но выпали изъ ея лона. Это жажданiе возможно **лишь** въ плоскости отъ Вѣчности отпавшаго, но все же въ какомъ то смыслѣ ему причастнаго бытiя. Такимъ образомъ сфера непримиренныхъ противорѣчiй, сфера «умаленiя» Жизни является **условіемъ возможности**, если не Жизни самой, то во всякомъ случаѣ **сознанiя о ней**.

И наконецъ, не только вскрываетъ извѣстныя трудности въ основныхъ понятiяхъ романтической философи Степуна (внутреннiя противорѣчiя и апори вѣ философскихъ понятiяхъ, по нашему мнѣнiю, скорѣе указываютъ на ихъ плодотворность и глубину проникновенiя въ бытiе, чѣмъ — на ихъ возможную ошибочность), но и вызываетъ серьезныя сомнѣнiя въ правомѣрности ихъ всеобщаго приложенiя, еще одна изъ центральныхъ темъ книги. Это тема Европа — Россiя. Въ книгѣ она выступаетъ, главнымъ образомъ, какъ тема Германiя — Россiя. Съ перваго взгляда кажется, что Россiя всецѣло на сторонѣ Жизни, Германiя — вся въ Творествѣ. Степунъ вводитъ тему Германiи въ первый разъ какъ тему зло — и во многомъ несправедливо — каррикатуризированную. Но тема эта просвѣтляется и проясняется по мѣрѣ своей дальнѣйшей разработки — мы слышимъ явѣсто первоначального «Mein Heber Augustin» музыку Шумана, а въ концѣ книги (идѣ, правда, говоритъ не самъ Ф. Степунъ, а его германофильско-собесѣдникъ), тема Германiи звучитъ хораломъ. — Мы не можемъ здѣсь повторять всего, сказаннаго въ «Письмахъ» на эту тему, сказаннаго часто поразительно (какъ и многое другое въ этой замѣчательной книгѣ) «адекватно» и мѣтко. Но существенно одно, — во **всей глубинѣ** нѣмецкой культуры соприсутствуетъ **поверхностность** «творчества». И это, м. б., лишая нѣмецкую культуру привлекательности и ирядности, не огнищаетъ у нея цѣнности и не препятствуетъ ей бытiе — вравнѣ съ Россiей — «опредѣтенной въ своемъ духовномъ обликѣ и въ своихъ жизненныхъ судьбахъ цѣнностями абсолютнаго религиознаго порядка». Какъ будто и Жизнь и безжизненная (или питающаяся только оттоками Жизни) культура, всѣ видоизмѣненiя культуры **одинаково** далеки — или, если угодно, близки — отъ Абсолютнаго, — въ чемъ послѣднiй смыслъ и Жизни и всего отъ нея производнаго или ей претивостоящаго. Романтически-презрительное отношенiе къ Творчеству и ко всякому «дилетантизму жизни», какъ будто преодолевается.

сферѣ душевности (вышей или низшей) для себя символическаго земѣстителя. Нѣтъ мѣста здѣсь и все-сексуализму Фрейда.

Какъ будто открывается исходъ къ монистической или плюралистической — неясно еще — глубинѣ, для которой романтической дуализмъ — лишь играющая поверхность! Можетъ быть, въ связи съ этимъ сознаниемъ глубины встрѣчаемъ у Степуна и типичныя для всѣхъ «кающихся романтиковъ» слова о «церкви» (52).

Въ нашихъ сухо-философскихъ замѣчанiяхъ мы не исчерпали ни философской содержательности книги, ни тѣмъ болѣе ея капитальной насыщенности бытiемъ и бываиемъ. Но эта «конкретность» вѣсть со страницъ «Писемъ» на каждого читателя. Мы хотѣли только отмѣтить философскую существенность переживанiй прапорщика-философа.

П. Я.

Новые синтезы Русской Исторiи.

Г. В. Вернадскiй. Начертанiе русской исторiи, ч. I Съ приложенiемъ «Геополитическихъ замѣтокъ по русск. ист.», 1927.

A History of Russia by Prince D. S. Mirsky, London, 1927.

Синтезъ Вернадскаго ярко «евразiйскаго» направленiя. Для рецензента это создаетъ затрудненiе особаго рода. Рецензентъ долженъ предвидѣть, что читатель въ «евразiйской» книгѣ будетъ искать и того, чего въ ней нѣтъ. Примѣнительно къ данному случаю обязанность рецензента идти навстрѣчу возможнымъ предубѣжденiямъ и подозрѣнiямъ читателя становится тѣмъ болѣе настоятельною, что книга Вернадскаго уже подверглась привлеченiю къ отвѣтственности за «евразiйствъ» въ его цѣломъ — въ рецензiи проф. А. А. Кизеветтера («Русь», 27 ноября 1927). Сущность рецензiи сводится къ слѣдующему. Книга Вернадскаго просто-на-просто запугиваетъ и затемняетъ наши представленiя о русской исторiи, и притомъ безъ всякой нужды, ибо никакихъ новыхъ данныхъ, которыя заставили бы историка рвать съ установившейся вульгатой, у Вернадскаго нѣтъ. Такiя яко-бы новыя данныя взяты авторомъ не изъ русской, а изъ татарской исторiи, съ которой онъ зачастую совершенно произвольно связываетъ въ своемъ построенiи русскую. Ломка вульгаты произведена Вернадскимъ единственно въ угоду своему «направленiю». Я думаю, что разобраться въ этомъ разнотасiи между двумя авторитетными специалистами по русской исторiи легче тому, кто, подобно мнѣ, будучи историкомъ, — специалистомъ по русской исторiи, однако, не является.

Уже давно сложилась — для насъ сейчасъ безразлично, какъ и почему — воплоти опредѣленная вульгата русской исторiи, вульгата, которая разматриваетъ русское прошлое, какъ нѣкоторый цѣлостный органическiй замкнутый и сплотившiй процессъ, протекавшiй, конечно, не безъ воздѣйствiй со стороны Востока и Запада, но такъ, что эти воздѣйствiя представлялись именно посторонними, внѣшними, относящимися къ историческимъ процессамъ, протекавшимъ параллельно съ русскимъ и съ этимъ несвязаннымъ какъ-бы вовсе не сплетавшимся. Здѣсь важно уберечь отъ молчаливо возникнущаго недоразумѣнiя. Вѣдь вульгата — создававшаяся «слепками», настановавшимъ именно П